

Владимир Гандельсман

ДОЛГОТА ДНЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«ПУШКИНСКИЙ ФОНД»
МСМХСVIII



Успокойся, это море не сохнет с утра,
свет и тишь в полном взоре, это истина сама.

Успокойся, мой хоронимый, мой любимый, мой родной,
роседа помини как роса на нас обходит стороной.

О любви вот неверно пишут - суть невелика,
потому что не безмерно и от правды далеко.

А безмерное бесстрашно. Как мадеина. Как волна
замыкает и не пускает висте музыкальной душой.

Это значит остановлен путь корабля пока.

Кровь-кровь. Не обескуражен, человек-трогательный мейт.

Не испытывай ни силы, ни подобно существо.

Чувство какою-либо, милый, - не испытывай его.

Где морская, покуда клонит в сон тебе, к добытью,
белой ракушкой спелит в колыхающую твою.

С простором простора слух слышай не разлукай.
Успокойся. Мир не скоро. Сты, себе не разлукай.



февраль 98 г.

Владимир Гандельсман

ДОЛГОТА ДНЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«ПУШКИНСКИЙ ФОНД»
МСМХСVIII

Г 19
ББК 84. Р7

Марка издательства работы
Сергея Семенова

I

(1973—1994)

ДАНТЕ

Я в неоплатном пред тобой долгу
за оголенность слова до весла,
которым толщу океана гну.
Прощай навеки, ты меня спасла.

Я знаю, с кем я разговор веду,
и если слышен в голосе металл,
то это к непосильному труду.
Я видел куст — он кровью истекал.

Не узришь ты ни скорбного лица,
ни слез моих, их бездна подо мной,
горбатое усилие гребца
не знает этой немощи земной.

Не до друг друга, мы теперь — одно,
езде тебе пристанище, как мне
изгнание повсюду суждено...



Я люблю твою жизнь, что согрета теплом изнутри,
от тебя независимо, взятую всею тобою,
у окна, где дрожат осыпающиеся фонари,
и уходит трамвай к «Блохину», словно зверь к водопою.

Я тем больше люблю ее, что не могу сохранить
так, чтоб ты ее тоже любила и, больше не споря,
чтоб душа твоя в силах была повторить
эту чистую линию тела, лишенную горя.

О твоём белоснежном объеме, имеющем зренье и слух,
о гордыне твоей в драгоценном сосуде,
говоря о тебе, о твоём умирающем чуде —
так смиренно создать мог не гордый, но любящий дух.



В области пчел, в рыжей стране с солнечной осью,
там, где паук плел мои сны по древесине,
я собирал дождь золотой или колосья,
и на веранде павлин плыл в керосине.

Книгою мне лес пламенел, набранный густо
временем игл, липкой листвой и занятыми
угольных мух, влажным камням — влажное чувство
вторило и растворялось в полуденном дыме.

Этот песок вдоль по ступням к пяткам сандалий,
гретый асфальт или залив в отмелях белых,
россыпь мальков, хрупкий хрусталь рыбьих печалей,
их позвонки, перезвон слез тонкотелых.

Если бы мог, если бы смел я усомниться
в том, что живу, прежде не жив, или растение
если бы смел не называть умершей птицей
или птицу не называть ангельской тенью,

то и тогда...



Сквозь тьму непролазную, тьму азиатскую, тьму,
где трактор стоит, не имея любви ни к кому,
и грязи по горло, и меркнет мой разум,
о, как я привязан к Земле, как печально привязан!

Ни разу так не были дороги ветви в дожде,
от жгучего, влажного и торопливого чтенья
я чувствую, как поднимается сердцебиенье
и как оно глохнет, забуксовав в борозде.

Ни разу еще не желалось столь жадностно жить,
так дышит лягушка, когда малахит ее душат,
но если меня невзначай эти ночи разрушат,
то кто, моя радость, сумеет тебя говорить?

Так вот что я знаю: когда меня тянет на дно
Земли, ее тягот, то мной завоевано право
тебя говорить, ну а меньшего и не дано,
поскольку Земля не итог, но скорей переправа.

Над огненным замком, в котором томится зерно,
над запахом хлеба и сырости — точная бездна,
нещадная точность! но большего и не дано,
чем это увидеть без страха, и то неизвестно.



Расширяясь течением реки, точно криком каким,
точно криком утратив себя до реки, испещренной
стволами,
я письмом становлюсь, растворяясь своей вопреки
оболочке, еще говорящей стихами.

Уходя шебуршаньем в пески, точно рыба, виски
зарывая в песчаное дно, замирающим слухом...
Как лишиться мне смысла и стать только телом реки,
только телом, просвеченным — в силу безмыслия —
духом.

Только телом, где кровь прорывает ходы, точно крот,
пронося мою память, ее разветвляя на жилы...
Я к тебе обращен, и теперь уже время не в счет,
обращенным к тебе, исчезаю в сознании силы.

Опыт горя и опыт любви непомерно дают
превращение в сердце, лишенное координаты,
оно — все, оно — всюду, с ним время в сравнении —
зуд,
бормотание, шорох больничной палаты.

И теперь всемогущество зрения — нежность его,
пусть зрачок омывает волна совершенным накатом,
это значит, пробившись за контур, слилось существо
с мнимо внешним и мнимо разъятым.



Троллейбус, что ли, крив,
раздрыгган и знобящ,
что едешь, полужив,
завертываясь в плащ,

дрожишь, облокотясь
на отсвет свой в окне,
без тела-то сейчас
ему теплей, чем мне.

Да, я бы мог не жить,
не видеть вообще,
и слов не говорить,
и не дрожать в плаще,

но если это Бог
мне зябкий подал знак,
то как Он одинок,
собой расщедрясь так.



Чем пахнет остывающий уют,
и комнаты молочное смерканье,
и женственная плавность этих рук,
как не ребенком спящим, как не тканью,
где затаился шелковый испуг.

Средь бела дня есть пауза, она
от тяжести любви почти свободна,
в ней женщина не мать и не жена
и сбывшемуся так же чужеродна,
как будто на него осуждена.

Не я из ее паузы изъят,
я только лишь угадываю сумрак
да зеркала темнеющий квадрат,
где в глубине графин с набором рюмок
мерцающее что-то говорят.

Тем лучше, что мы не были близки,
что порознь испытываем эти
приливы изумительной тоски,
которые испытывают дети,
проснувшись, когда в комнате ни зги.



И от любви остается горстка
пепла, не больше наперстка.
Нет, не страшно стало душе
быть нелюбимой уже.

Вот тебе рукавицы, ватник,
лампочка в сорок свечей,
кружка воды и мышинный привратник.
Чей ты теперь? Ничей.

Будешь двуруким теплом двуногим
жить, согревая тьму,
счастьем обязан был ты не многим,
будешь зато — никому,

это и есть твое счастье... все же
это еще и твой страх,
что и тогда тебе Бога дороже
будет пепел, наперсток, прах.



Феноменальность жизни моей, шага,
вдоха грудная тяга,
коченеющий утра пустой объем
и шаги мои в нем.

В жизнь упавший, в чехле
кожи, с принятой на земле
логикой мышц, суставов, костей
вертикальных людей —

я иду к остановке и там стою
безмолвно и не перестаю
шевелить от холода пальцами ног,
весь — удар прицельного бытия и его срок.



Ребенок спит, подложив под щеку
руку, другой обняв
куклу, ему не снится совесть,
он глубоко прав.

Так глубоко, как на пустыре
снег — ни фабрик вблизи,
ни черных фигур во дворе
по колено в грязи.

Снег на пустыре один,
как ребенок спит,
он ослепительно состоит
из самого себя.



Домой, домой, домой,
с Крестовского съезжая
моста, я вздрогнул: Боже мой,
какая жизнь простая,

как все проявлено: торчат
деревья, трубы,
и мокрый снег летит, и спят
в снегу гребные клубы,

и все молчит, срезаясь за
стекло косым квадратом,
то набегая, то сквозя,
то волоочась закатом,

а там, среди серых плоскостей,
смиряются, смиряют,
хоронят, любят, ждут гостей,
живут и умирают,

и надо двери отворить,
и надо чаю заварить.

ТРИ ВРЕМЕНИ ГОДА

1

Чередование года времен
я застаю у себя в котельной,
с мышью, притихшей в кладовке, вдвоем
слушаем осени шум запредельный
или вдруг слушать перестаем.

Третий уж год параллельно реке
я засыпаю, по левую руку —
парк, и ничто уже не вдальеке.
Дверь отворяю и радуюсь другу,
снегу, тающему на воротнике.

2

За ночь снега под дверь насыпет,
я лопатой его разгребу,
оглянусь — параллелепипед
дома желтого на берегу,
дверь открыта и чай не выпит.

А на стенах осела копоть,
невесомый рисунок дней,
тех, что некий безумец копит
и записывает... ему видней...
Но меня ничто не торопит.

3

В угол, в уголь смотрел черно-синий
я вчера и таких длиннот
вдруг услышал — не звук — пустыню,
что замедлило время ход
и пропало в полночной тине.

Но откуда тогда под подошвой
утра хрусткие ямы, бугры,

ночь, утекшая в темень коры,
мир с голубизною подмерзшей
накануне цветенья поры?

ОТРЫВОК

...лучше комнаты чистой, пустой,
в пору сумерек, с тусклым свеченьем
уносимых теченьем вещей,
уносимых теченьем
и хранящих могучий покой,

лучше сумерек в пору лучей,
там, за кровельной кромкой железа
утонувшего жаркого веса,
синеватых теней
на рельефе дверного отвеса... —

всей спиною к нему прислонясь,
так и вплыть ненароком, небольно,
с мандариновой долькой вдали
кислоты треугольной,
в темноту, в тишину несейчас,

несейчас, никогда, неземли,
в пору сумерек, умерек, в пору
сжатий горя — мы тоже прошли,
но спокойному хору
повинуясь, прикрыв за собой
белоснежную дверь с синевой...



Две капли слепящие
вползают в квадрат
окна полуспящего,
как Тигр и Евфрат.

Родясь в междуречье,
пленного племени сын,
чужое наречье
застал ты своим,

и говор их воинов грубый,
и конское ржанье, и трубы
вошли в твой словарь,
и с кладбищ летящая гарь
налипла на губы,

страна камышей и каналов
(мышей, говоришь, и подвалов? —
я слышу), прозрачной и пресной,
холодной воды, говорю,

и голос надтреснут,
и тянется взгляд к пустырю
чужбины воскресной.



Еще хожу и говорю,
на голос отвечает голос,
из электрички тонкую зарю —
вот эту — я увижу ли еще раз?

Какую глупость совершить могу:
так вторгаться в стеклянно-пыльный
пейзаж, что говорить: я избегу
тоски грядущей, непосильной,
и не завидую не любящему жизнь.

Но я уже не верю
словам, которые произнеслись.

Мы — жаркие, вседышащие звери
и ничего не избежим.
Тем ненасытней потрясенье,
когда в вагоне в тридцать тел дрожим
и дышим сумерками воскресенья.



Должен снег лететь
и кондитерская на углу гореть,
мать ребенка должна тянуть
за руку, должен ветер дуть
и калоши глянцевые блестеть,

продавщицы розовые в чепцах
кружевных должны поднимать
хруст слоеных изделий в щипцах,
и ребенок, влюбленный в мать,
должен гибнуть в слезах,

и старик, что бредет домой,
должен вспомнить, как — Боже мой! —
как сюда он любил
заходить, как он кофе пил,
черный кофе двойной,

«Больше, — шепчет, — лишь смерть одна,
потому что должна
этот шорох и запах смыть...» —
и глухая должна стена
тень его укрупнить,

и тогда снегопад густой
все укроет собой,
и точильного камня жрец
сотворит во мгле под конец
дикий танец с искрой.



Шумящий сад шумит,
подъезд — кошачье небо — свет ребристый,
листья пугливый малахит
то с чернотой, то с прозеленью быстрой,

как лепесток, прозрачное лицо
трепещет на губах и пахнет влажно,
глаза прекрасные с пылью,
фаюмские глаза протяжны,

как я люблю тебя, — он прав, что так сказал,
его пустырь или мой сад шумящий
с тобой — одною настоящей —
он стоит истины, когда б с ней не совпал.



Мы пробродили бабочковый парк,
попав с тобой под солнечный колпак,
и в этом вся печаль и радость вся,
факир был пьян, но фокус удался,

он полночью прикрыл нас, как платком,
и, сняв покров, он изумил зевак:
нас не было с тобой под колпаком.
О, как легко не быть и странно как!

Не отменять же пошлостью родной
неотразимый этот перебив,
под куполом судьбу перехитрив
и у зевак воскреснув за спиной.



Днем в комнате зимы начальной
голубоватый свет и потолок белесый.
Я вижу тебя девочкой печальной,
вне сплётенного к жизни интереса.

Без твоего участия день стихает,
придет с работы мать, суп разогреет
грибной (за дверью связка усыхает),
потом над кройкой и шитьем стареет.

Еще увидишь: лампы свет прикроет
газетой, и такая грусть настанет,
как будто ты раздумываешь — стоит
или не стоит жить, — не слишком тянет.

Я там тебя люблю и бесконечней
не знаю ничего, не знаю чище,
прекраснее, печальней, человечней
той нерешительности и свободы нищей.



Вдоха чуянье сквозное,
и просвет многотрадальный
в тучах вытяжкой печною
вторит вдоху, друг печальный,

и вступает в силу осень,
исподволь, как стих опальный,
час высказыванья грозен,
все — утрата, друг печальный,

точно кто-то жизнью всюю
поплатился за кристальный
воздух, в созданном не смея
не исчезнуть, друг печальный.



...из тех, кто ждет звонка и до звонка
за миг уходит из дому, из тех,
кому не нужно ничего, пока
есть не интересующее всех,
из тех, перебирающих листы
с печатными столбцами, находя
в них водяные знаки красоты
и — ничего, немного погода,
из тех, себя увидевших в родне,
как в зеркалах возможного, от них
бежавший и привязанный вдвойне
к отвергнутому, из еще живых...



О, вечереет, чернеет, звереет река,
рвет свои когти отсюда, болят берега,
осень за горло берет и сжимает рука,
пуст гардероб, ни единого в нем номерка.

О, вечереет, сыреет платформа, сорит
урнами праха, короткие смерчи творит,
курит кассир, с пассажиркою поздней острит,
улица имя теряет, становится стрит.

Я на другом полушарии шарю, ища
центы, в обширных, как скука, провалах плаща,
эта страна мне не впору, с другого плеча,
впрочем, без разницы, если сказать сгоряча.

Разве поверхность почище, но тот же подбой,
та же истерика поезда, я не слепой,
лучше не быть совершенно, чем быть не с тобой.
Жизнь — это крах философии. Самой. Любой.

То ли в окне, как в прорехе осеннего дня,
дремлет старик, прохуdivшийся корпус креня,
то ли ребенка замучила скрипкой родня,
то ли захлопнулась дверь и не стало меня.



Я возьму светящийся той зимы квадрат
(вроде фосфорного осколка
в черной комнате, где ночует елка),
непомерных для нашей зарплаты трат,
я возьму в слабеющей лампе бедный быт
(меж паркетинами иголка),
дольше нашего — только чувство долга,
Богом, радуйся горю, ты не забыт.

Близко, близко поднесу я к глазам окно
с крестовиной, упавшей тенью
на соседний дом, никогда забвенью
поглотить этот желтый свет не дано.
И лица твоего я увижу овал,
руку с легкой в изгибе ленью,
отстранившую книгу, — куда там чтенью,
подниматься так рано, провал, провал.

Крики пьяных двора или кирзовый скрип,
торопящийся в свою роту,
подберу в подворотне, подобной гроту,
ледяное возьму я мерцанье глыб,
со вчера заваренный я возьму рассвет
в кухне... стало быть, на работу...
отоспимся, радость моя, в субботу,
долго нет ее, долго субботы нет.

А когда полярная нас укроет ночь
офицерской вполне шинелью,
и когда потянется к рукоделью
снег в кругах фонарей, и проснется дочь,
испугавшись за нас, — помнишь пламенный труд
быть младенцем? — то, канителью
над ее крахмальной склонясь постелью,
вдруг наступят праздники и все спасут.



Снег размозжен подошвами, раскис.
Февральский воздух сумеречно-сиз.
Мороженица — три ступени вниз.

Уставшая мертветь в развалах льда,
сюда стекает талая вода.
Тебе никто не равен никогда.

Чайковского часов примерно в семь.
Я не хотел касаться этих тем.
Общенье душ не выдумка совсем.

Лариса приготовит нам двойной.
И Грегор, нас почувствовав спиной,
исчезнет между стойкой и стеной.

Его любовь к сородичам и страх
за них, полуживотный, впопыхах...
Сочувствие не держится в стихах.

Я мысленно сжимаю снег в горсти.
Мне больше не с кем душу отвести
туда, куда ей хочется, прости.



Я посвящу тебе лестниц волчки,
я посвечу тебе там,
сдунуло рукопись ветром, клочки
с дерева летят по пятам,

в лестницах, как в мясорубках, кружа,
я посвящу тебе нить
той паутины, с которой душа
любит паучья дружить,

лестниц волчки или власти тычки,
крик обезьян за стеной
или оркестра косые смычки
марш зарядят проливной,

гостя, за маршем берущего марш,
я посещу ту страну,
где размололи не хуже, чем фарш,
слабую жизнь не одну,

вешалок по коридору крючки,
я посвечу тебе в нем,
на два осколка разбившись, в зрочки
неба упавший объем,

надо бумагу до дыр протереть,
чтобы и лист, как листва,
мог от избытка себя умереть,
свет излучив существа.



Остановка над дымной Невой,
замерзающей, дымной,
черный холод зимы огневой —
за пустые труды мне,

хищно выгнут Елагин хребет,
фонари его дыбом,
за пустые труды этот бред
в уши вышептан рыбам,

за граненый стакан на плаву
ресторана «Приморский»,
за блатную его татарву
в мерзкой слякоти мёрзкой,

то ль нагар на сыром фитиле,
то ли почва паскудна,
то ли небо сидит на игле
третий век беспробудно,

в порошок снеговой ли сотрут
этот город ледащий
за пустой огнедышащий труд,
в ту трубу вылетавший,

или «нет» говори, или «да»,
Инеадой вдоль древа,
черной сваей за стеклами льда,
вбитой в грудь мою слева.



Тому семнадцать, как хожу кругами
вкруг постов своих сторожевых,
над реками, семнадцать берегами
я лет хожу в пространствах нежилых,
дыханием моим за стадионом
отопленных, с футбольною землей,
раскомканной, под воздухом бездонным
все началось, кипящею смолой
на дальних пустырях, с теней в бушлатах,
с вагончиков отцепленных, тому
назад семнадцать, с вечера поддатых,
смурных и сократившихся до СМУ
с утра, когда, бредя с автостоянки,
я согревался начатым в глухом
углу одной бытовки у жестянки
с окурками спасительным стихом,
продолженным в заснеженных колоннах
Елагина на шатком топчане,
среди котлов, на угле раскаленных,
волчат огня, в своей величине
разогнанных до высыпавшей стаи
шипенья на рождественском снегу,
семнадцать, как губерния пустая
пошла и пишет через не могу
раскуренным стихом на финском фоне,
над мертвой рыбой с фосфором из глаз,
в другой бытовке скуку на Гудзоне
развевающим и конченным сейчас.



Свободней говори, пожалуйста,
вот так, вслепую, наизусть,
хребтом уходит рыбьим шпалистый
трамвайный пусть,

трамвайным пустится, не сетуя,
пусть бесподобная душа,
по снегу тающему спетая
в сердцах, левша,

пылает вдаль Красноармейская,
желтеет, слухом отлови,
как речь густая, арамейская
живет в крови,

желтеет на углу, пульсирует,
увязан в сноп собор, как есть,
и между ним и мной курсирует
сквозная весть,

сквозная ветвь, сюда и метили,
когда дыханием зажглись...
Теперь ты не боишься смерти ли?
Свободней, жизнь.



Низких окон жилищно-
эксплуатационных контор
мимо, мимо, не хищно,
но приверженно мир

видеть, угол Каляева
с Чернышевского, двор
и — направо, хваля Его
за прижизненный дар

быть с тобою в квадратных
метрах, лампа и шнур,
перестуки парадных
и кровать вроде нар.

Кто ты? Техник-смотритель.
Грузчик я, истопник,
тараканоморитель.
Крупно падает снег.

Утверждать безусловность —
утешенье двоих.
Что у них, кроме слов, есть?
То же, что и у всех:

души, неповторимость...
И зачем она им,
абсолютная зримость
мира, спящим уже?

II

(1995—1998)



Лучшее время — в потемках
утра, после ночной
смены, окно в потеках,
краткий уют ручной.

Вот остановка мира,
поршней его, цепей.
Лучшее место — квартира.
Крепкого чая попей.

Мне никто не поможет
жизнь свою превозмочь.
Лучшее, что я видел —
это спящая дочь.

Лучшее, что я слышал —
как сквозь сон говоришь:
«Ты кочегаркой пахнешь...» —
и наступает тишь.



Мост с пятого мне этажа,
за ним еще один запомнить,
пространство больше, чем душа,
болящая его заполнить,

спиль солнца пылью золочен,
бухгалтерские счета Биржи
стоят ребром, стоят плечом
к плечу дома, ничто не ближе

тебя, мы в воздухе одном,
тебя, на что оно без слова,
пространство, данное вверх дном
в реке, для пущего улова,

поэтому так разрастись,
как свет, себя переполняя,
идет, как если бы он вниз
шел, больший свет припоминая,

а мыслимое все, тобой
став и озвучив, словом то есть,
как рыба с порванной губой,
срывалось бы, на миг удвоясь.

ЦАПЛЯ

Сама в себя продета,
нить с иглой,
сухая мысль аскета,
щуплый слой,
которым воздух бережно проложен,
его страниц закладка
клювом вкось, —
она как шпиль порядка,
или ось,
или клинок, что выхвачен из ножен

и воткнут в пруд, где рыбы,
где вокруг
чешуй златятся нимбы,
где испуг
круглее и безмолвнее мишени
и где одна с особым
взглядом вверх,
остроугольнолобым,
тише всех
стоит, едва колеблясь, тише тени.

Тогда, на старте медля,
та стрела,
впиваясь в воздух, в свет ли,
два крыла
расправив, — тяжело, определенно,
и с лап роняя капли, —
над прудом
летит, — и в клюве цапли
рыбьим ртом
разинут мир, зияя изумленно.



Полдень всяких городков таких,
белых, известковых, развесных

пятен света, поворот песчаной
ни души-дороги, полдень чадный,

но прохлада дома изнутри
ощутительней вдвойне — смотри:

там уроки музыки дают,
вдовствуют, по-тихому сдают,

навсегда там убрана одна из
комнат, по утрам не растемнясь,

время закупорено в часах,
на юпитре пьеса в трех частях

остановлена, сухая птица
в доме вдовствует, на жизнь скупится,

и не слышит собственные шарки,
и не видит поворот дороги жаркий,

свет над ней, изношенный до дыр
темноты, превосходящей мир.

НАЧАЛО ЗИМЫ

1

Из города — уже закат
подвел черту — обратно
я ехал мимо Кротона, в квадрат
оконом возведенного опротно.

На станции поймал такси,
и дуновенье ветра
оспорило на миг, ни с чем в связи,
спокойные угоды геометра.

2

Религия его ума,
идушего по тропке,
как формулы, возделала дома
и вынесла святых во двор (за скобки).

Он на механика снегов
взглянул — в столь час не ранний
не спит ли, не упал с колосников...
Рассеянность, подруга чистых знаний...

3

Шел в комнату — забыл за чем...
С небес летели числа,
и несколько ветвистых теорем
росло в ночи, доискиваясь смысла.

К воздушной книге для слепых,
что текстом вниз раскрыта,
словно тянулся кто-то... и затих.
И я перевернул страницу быта.



М. В.

Темни, моя радость, темни,
как тянет иголка, тyani,
вытягивай ниточку-душу,
склоняй над снегами огни.

Раскачивай люльку земли,
пока, наподобье змеи,
в ночи извивается поезд.
Мы бедные дети твои.

Живи, говоришь, выживай,
я вторю тебе: вышивай
крестом по кладбищенской стуже
и гладью над промельком свай.

Ты знала, что нас приютят,
что слезы пощады претят,
а значит, лишь тот и утешит,
кто сам с преизбытком утрат.

Кому много хуже теперь.
Он входит, отдернувши дверь
вагона, не обернувшись,
в предчувствии новых потерь.



Открой окно, ползущего червя
услышь в траве — извилистый, сырой,
своим подземным помыслом черня
еще сильнее ночь, — открой, открой,
открой огонь чердачный ночевья

ему навстречу, — медленный, ползет,
готовя для трагедий черепа.
Открой, вбирай глазами — парой сот —
мед бытия: шевелится тропа,
когтит добычу хищный небосвод,

и ты неимоверно жив, раз ты
забыт, разлюблен иль приговорен
болезнью, и, ценитель наготы,
пирует червь, и ночь со всех сторон,
и мотыльки, как маленькие рты,

лопочут: «прах», слетаясь с похорон.

СТИХИ ОДНОГО ЦИКЛА

1

когда из двух углов, из двух углов
друг к другу бросятся,
одежды вороха,
зверь двухголов,

когда из двух углов, из двух углов
друг к другу бросятся, друг к другу,
одежды вороха, обрывки слов,
одежды вороха, обрывки слов,

когда кричат, кричат,
как бы до этого не быв,
изнанкой кожи ознобив
ночное небо с выводком волчат,

как сдергивают кожуру,
и апельсина эпителий,
тот белый хоботок меж долек в теле
не помнит, выдернутый, жизнь, жару,

так те разлепятся на локоть,
ступню, на локоть, на ступню,
теперь взгляни, Безумный, сквозь стекло хоть —
ты сотворил их — значит знаешь похоть —
на мертвую свою стряпню,

пыль улицы гони, гони пыль,
закручивая смерч дворов,
нет ничего естественней, чем гибель,
когда из двух углов

Яхты, яхты, солнце, как ты тиха, —
тише ночи из ненаписанного стиха,

стружка свежая чайки летит с небес,
рыбный рынок, серебряный чудный вес,

лет пятнадцати, ночью, в другом краю
я служил за Лию, сестру твою,

за твою двойницу, нам сад был кров,
и томление неутоленное злило кровь,

может быть, та скатерть, развернутая в ночи,
свой узор подставила нам, сличи —

лесопильни стружка, и всплески рыб,
и деревьев мачты, их перескрип, —

обернулись солнцем, яхтами и тобой,
это кровь прихлынувшая, ее прибор,

и твоя готовность утратить вдруг
описавшую непорочный круг

жизнь, совпавшую с жизнью здесь,
чтобы я любил тебя вдвое сильнее, чем весь.

3. Две песни

Мужской голос

Все. Чик-трак. Чертог,
эту хлябь и твердь,
на амбарный замок
запирает смерть.

«С» и «м» как «съем»,
мол, считай до ста,
«р» и «т» — будешь нем,
не разявишь рта.

И спокойно в «е»,
то есть в скважину,
ключ вставляет портье
напомаженный.

В черной паре он,
на руках бельё,
прядью посеребрен,
а в глазу бельмо.

«Ад тебе и рай,
рад тебе и ай,
ай-да что за сарай...» —
он бормочет, знай.

«Постоялец где,
постоянец твой?» —
«Он нигде и везде,
не найдешь, хоть вой.

Как со всем живым
совпадешь хоть раз,
приходи со своим
барахлом до нас.

Отопру я на
человечий лай
твой, впусцу — и хана.
А пока — гуляй».

Женский голос

Он приходит, там
у стены сидит,
мертв не по годам,
и за мной следит.

А закрыв глаза,
вижу: он в гробу,
где дышать нельзя,
от губы губу

отлепить нельзя,
не шатнув толпу.
Грим блестит на лбу,
на щеках, на лбу.

Как внутри темно
камню (но темней),
так ему темно
двадцать девять дней.

А идешь на дно —
все, воде видней.
Камень канет, но
без кругов по ней, —

как во сне. Из двух
если мертв один, —
сна двуликий слух
и спасет один.

Потому что сон —
эхо жизни — впрямь
к смерти обращен,
и хоть яму ямь.

Потому что сон —
эхо смерти — вспять
к жизни обращен.
Поздно. Время спать.

— Двое смотрят на меня детей
из своих смертей,
с двух неярких звезд,
как птенцы из гнезд,

двое смотрят на меня детей, детей,
небо звездное — испарина смертей,

это Полидевк, а это Кастор,
это Орион, а там Плеяды,
астрономия горящих астр,

о каких ты говоришь страстях,
ревности-любви ты о какой,
обезумевший слепой шахтер с киркой,
высекающий свой страх?

Он теперь не на таких костях, —
остов мира костною мукой,
мозгом склеен двух детей моих,

о каких ты, о каких,
оглядись — покой, оглядись — покой,

мертв Ясон,
нет ни его, ни их...

.....

Есть две лодки Млечною рекой,
две плывущих Млечною рекой
глаз ее колхидских, гаснущих
под ее рукой.

Закрывать лицо рукой, лицо рукой,
чтоб ты не видела вовеки
гримасы боли, горя — никакой,
иль, Боже упаси, влажнеющие веки.

Стой как стоишь, ты навсегда ясней:
ни прошлого, ни будущего всеу —
ни дикого их мяса, ни костей —
не упомянешь, всем лицом пустуя.

Еще яснее так: скульптура двух, —
прямые нити между ними рвутся,
и камень здесь уместен: гол и сух.
Окликни их — они не отзовутся.

Лишь гул того, кто призраком томим, —
он знаков ждет — но чьих? — богов? комет ли? —
и тишина, не понятая им.
Она — ступив, и он — позорно медля.

6

Это, остановленная горем,
женщина под тенью трех смертей
медленно сидит, античным хором
вторит, вторит вторящее ей.

Нет людей заботливых и страшных,
отводящих в сторону свой страх,
ты и сам из комнат умиравших
уходил, не мешкая в дверях,

и признайся, разве не дышалось
тем жадней на улице, чем там
сердце сокрушительнее сжалось.
Хор оставь деревьям и цветам.

Или попросту стене, поскольку
хор — есть эхо горя, немоты,
женщины, которая умолкла
и которой недостоин ты.

И за это ты однажды выйдешь
в тот же сад, на те же голоса
и ее смеющейся увидишь,
пьяненькой, забывшей все и вся.

Если свет, доходящий с неба, —
свет погасших и прошлых звезд,
то для них мы — будущее, и встречно-слепо
в грозном зигзаге зеленом лета
горсть осызает гроздь.

Чуть запаздывая, не поспевая
за световым лучом...
Только нежность аэда слепая,
сквозь черты его проступая,
сплошь продрогнута дорогим лицом.

И когда творится любовь двоими,
то ее забвенья сродни
устранению времени с его мнимым,
обращенным вспять, — и вперед гонимым
и реальным ходом, чтобы слились они

на мгновенье. Но если это исчезнет,
называемое ты и я,
пропадет совсем, никогда не воскреснет,
если даже небо не вздрогнет и не надтреснет,
то Господь безумен, радость моя.

8. Эвридика

Она оборачивается и думает: «Если он увидит преследующие меня тени любимых, которыми населен Аид...» Оборачивается к новой теме.

«Увидит, что вполоборота иду,
что предана мертвым, что большего чуда,
чем с ними остаться... — он не осилит ту,
предписанную ему, и рванет отсюда».

Тогда он сбавляет шаг, ощутив спиной,
спиной и затылком, и целиком — всю тяжесть
тоскливую. Она говорит: «Родной» —
кому-то, и он оборачивается, отважась.

Поздним вечером, поздним,
 мартовским вдруг звонок —
 просит голос встретить, через двор довести,
 потому что страшно ей, матери, звездным,
 нет, не матери, вечером, доведи, сынок,
 доведи, прости.

Но она оказывается тобой, тобой,
 и на лестнице мы стоим, стоим
 возле двери в дом,
 свет какой-то газовый, газовый, голубой,
 изумительным я притянут лицом твоим,
 неужели тебя не будет потом...

Только нас туда не впускают, нас
 мать с отцом не хотят впустить,
 что-то быстро вру,
 говорю: один я, один, — винась
 перед всеми, всеми, умоляю простить
 и ускальзываю в дверную нору.

В длинном, длинном мы коридоре втроем,
 ты за дверью осталась, но вдруг идешь,
 говоришь: в окно
 влезла, — бледная, дышишь трудно ртом,
 дышишь, маленькая, как если б дождь
 шел, но сохшишь, давно, давно.

Боже праведный, я тебя люблю,
 словно ты умерла,
 так люблю, как если бы недостижим
 был, но зренью данный, твой облик, длю,
 длю из ночи в утро тебя, игла
 застревает сна, где с тобой дрожим.

10. Медея

Если б море могло заменить в себе
«м» на «г», то оно бы стало тобой.
«М», подобное верхней детской губе,
на песке нежнейшее, смысл прибой.
Небо, небо ночное, плащом темноты убей
моря гул голубой.

Если б горе «е» заменило на «а»,
то оно бы стало тем, что ты есть:
молчаливым криком, когда слова
стеснены, как камни, в недвижный вес,
но, срастаясь тяжестью естества
с почвой, высят весть.

И когда ночнеет, углы углят,
это значит, что, свет изрыв,
потемнел, чтоб рыскать в потемках, взгляд,
там, где не был он еще, и прилив
плачу, плачу колеблем в лад,
и когда, не забыв

ни на миг исчезнувшие голоса,
ты молитву шепчешь: «Верни, верни!» —
расцепляя сдавленных слов веса, —
вот тогда рождают Бога они,
и на небе младенческих лиц роса
зажигает огни.

11. Ойстр* — Медее (1)

Как ты врезана в воздух — не отвести
глаз: подобно лучу стоишь
явной плоти, и надо сказать «прости» —
ведь не тень идет от тебя, но тишь,

и спугнуть собою ее нельзя;
потому что ревность, как злая рябь,
набегает, прошлому твоему грозя,
говорит: забвеньем его ограбь.

Если ж нет — то пусть из небытия
вновь умрет оно, сгинет из темноты,
светом взорванной, здешней, где ты и я
неотличны, слившись, от я и ты.

Пусть вторично пепел сгорит, и лед
мертвых недр вдвойне охладает в них,
пусть любовным криком твоим зальет
дыры раковин, рытвин его ушных.

* Ойстр — по принятой мной мифологии, любовник Медеи,
скульптор.

12. Ойстр — Медея (2)

Крик, встречный крик твоей любви,
Ясону встречный, —
и есть мой ад, в моей крови
продолженный, Медея, вечный.

Мгновение с тобой, Медея,
горячка, ярость —
месть прошлому. Но, не владея
им, признаю свою бездарность.

Тому, кого там нет, чей длится
любовный крик, —
рот не зажмешь.
Ясон твой мертв. Но он проник
в тебя, чтобы в тебя пролиться, —
навек. Сплошь.

Подсматриванье — униженье.
Позорных глаз
подзорный ужас
двух тел нежноющих неженье
увидит. Вас.
Убьет и воссоздаст, разрушась
и озарясь.

Я, жрец и жертвенник, я, чуждый
себе, сойдя
с ума от жертв,
(кто мне судья? —
слепой бог ревности)
от жертв,
я говорю: «Да будет муж твой
не мёртв, но мертв».

Так в слове выколоты очи.
Так в небе замер
их свет двойной. Так без конца
явь сдергивает тряпку ночи
и обнажает белый мрамор
лица, лица.

Мы встретились с тобой за гранью
возможного. Но все, что есть,
нельзя ни отменить заранее,
ни предпочесть.



Я жил в чужих домах неприбранных,
где лучше было свет гасить,
чем зажигать, и с этих выдранных
страниц мне некому грозить.

К тому же тех, что под обложкою
страниц, — и не было почти.
Ложился лунною дорожкой
свет ночи, сбившийся с пути,

свет ночи, пылью дома траченный,
ложился на пол, а прикрыв
глаза, я видел негра в прачечной —
он спал под блоковский мотив.

Казалось, сон ему не нравится,
а свет тем более не мил,
и если то, с чем надо справиться, —
есть жизнь, то он не победил.

Я шел испанскими кварталами,
где над веревкой бельевой
и человеками усталыми
маячил мяч полуживой.

И в окнах фабрики, как водится
полузаброшенной, — закат
искал себя, чтобы удвоиться,
и уходил ни с чем назад.

Все было выбито, измаяно.
Стояла Почта, дом без черт,
где я, как верный пес — хозяина,
порой облизывал конверт.

В тех городках, где жить не следует,
где в жаркий полдень страховой
агент при галстукe обедает
с сотрудницей не роковой,

в тех городках, что лучше смотрятся
проездом, бегло, как дневник,
в который — любят в нем иль ссорятся —
не важно, — ты не слишком вник, —

чем становилось там дождливее,
тем неуверенней я знал,
что все могло быть и счастливее.
Но не было, как я сказал.

УТРЕННИЙ МОТИВ

На асфальте мечется
мышь, кыш, мышья,
сторож это, сменщица,
мусорщик, малыш,

семенит цветочница,
шарк, шурк, шарк,
точность мира точнится,
в арках аркнет арк,

взрыв бенгальский сварщика,
сверк, сварк, сверк,
голубого росчерка
меркнуть медлит мерк,

льется, не артачится
свят свет свит,
тачка утра тачится,
почтальон почтит,

Чарли это брочится,
блажь, мышья, блажь,
ночь в чернилах учится
небу тихих чаш,

пусть проходят где-нибудь,
кlesh крыш klesh,
душу учит небо ведь
простираться сплошь.



Успокойся, это море, не сошедшее с ума,
свет и тишь в полночном взоре, это истина сама.

Успокойся, мой хороший, мой любимый, мой родной,
росчерк молнии над рощей нас обходит стороной.

О любви поют неверно, чувство — суть невелико,
потому что не безмерно и от правды далеко.

А безмерное бесстрастно. Как младенец. Над волной
замирают и не гаснут весла музыки двойной.

Это значит, остановлен мужа гордого поход.
Кровля-кровь. Не обескровлен, человек-тростник поет.

Не испытывай ни силой, ни любовью существо.
Чувство жалостливо, милый, — не испытывай его.

Гул морской, покуда клонит в сон тебя, к добытию,
белой ракушкой спеленут в колыбельную твою.

С просторечием простора слух сплошной не разлучай.
Успокойся. Мир не скоро. Спи, себя не различай.

февраль 1998

СОДЕРЖАНИЕ

I (1973—1994)

Данте	7
«Я люблю твою жизнь...»	8
«В области пчел, в рыжей стране...»	9
«Сквозь тьму непролазную...»	10
«Расширяясь течением реки...»	11
«Тролейбус, что ли, крив...»	12
«Чем пахнет остывающий уют...»	13
«И от любви остается горстка...»	14
«Феноменальность жизни моей...»	15
«Ребенок спит, подложив под щеку...»	16
«Домой, домой, домой...»	17
Три времени года	18
Отрывок	20
«Две капли слепящие...»	21
«Еще хожу и говорю...»	22
«Должен снег лететь...»	23
«Шумящий сад шумит...»	24
«Мы пробродили бабочковый парк...»	25
«Днем в комнате...»	26
«Вдоха чужие сквозные...»	27
«...из тех, кто ждет звонка...»	28
«О, вечереет, чернеет, звереет река...»	29
«Я возьму светящийся той зимы квадрат...»	30
«Снег размозжен подошвами, раскис...»	31
«Я посвящу тебе лестниц волчки...»	32
«Остановка над дымной Невой...»	33
«Тому семнадцать, как хожу кругами...»	34
«Свободней говори, пожалуйста...»	35
«Низких окон жилищно-...»	36

II (1995—1998)

«Лучшее время — в потемках...»	39
«Мост с пятого мне этажа...»	40
Цапля	41
«Полдень всяких городков таких...»	42
Начало зимы	43
«Темни, моя радость, темни...»	44
«Открой окно, ползущего червя...»	45
Стихи одного цикла	
1. «когда из двух углов, из двух углов...»	46
2. «Яхты, яхты, солнце, как ты тиха...»	47
3. Две песни	48
4. «— Двое смотрят на меня детей...»	49
5. «Закрывать лицо рукой, лицо рукой...»	50
6. «Это, остановленная горем...»	51
7. «Если свет, доходящий с неба...»	52
8. Эвридика	53
9. «Поздним вечером, поздним...»	54
10. Медея	55
11. Ойстр — Медее (1)	56
12. Ойстр — Медее (2)	57
«Я жил в чужих домах неприбранных...»	59
Утренний мотив	61
«Успокойся, это море, не сошедшее с ума...»	62

Г 19

Гандельсман В.

Долгота дня. — СПб.: «Пушкинский фонд», 1998. — 64 с.

ISBN 5—89803—003—4

ББК 84. Р7

Гандельсман Владимир Аркадьевич

Долгота дня

«Пушкинский фонд», Санкт-Петербург, 1998

Редактор *Г. Ф. Комаров*

ЛР № 071 541 от 21 ноября 1997 года

Издательство «Пушкинский фонд»

191186, Санкт-Петербург, набережная р. Мойки, 12

Подписано в печать 10.03.98 г. Формат 60x90 1/16. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 4,0. Тираж 1000 экз. Зак № 1095.

multiprint

МУЛЬТИПРИНТ

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии

«Полиграфический центр "MULTIPRINT"»

190000, г. Санкт-Петербург, Прачечный пер., 6

Тел./факс 812 315 33 10